

1. Анализ рассказа Т. Толстой. Соня

Жил человек - и нет его. Только имя осталось - Соня. "Помните, Соня говорила..." "Платье похуже, как у Сони..." "Сморкаешься, сморкаешься без конца, как Соня..." Потом умерли и те, кто так говорил, в голове остался только след голоса, бестелесного, как бы исходящего из черной пасти телефонной трубки. Или вдруг раскроется, словно в воздухе, светлой фотографией солнечная комната - смех вокруг накрытого стола, и будто гиацинты в стеклянной вазочке на скатерти, тоже изогнувшиеся в кудрявых розовых улыбках. Смотри скорей, пока не погасло! Кто это тут? Есть ли среди них тот, кто тебе нужен? Но светлая комната дрожит и меркнет, и уже просвечивают марлей спины сидящих, и со страшной скоростью, распадаясь, уносится вдаль их смех - догони-ка. Нет, стойте, дайте нас рассмотреть!

Сидите, как сидели, и назовитесь по порядку! Но напрасны попытки ухватить воспоминания грубыми телесными руками, веселая смеющаяся фигура оборачивается большой, грубо раскрашенной тряпичной куклой, валится со стула, если не подоткнешь ее сбоку; на бессмысленном лбу потеки клея от мочального парика, и голубые стеклянные глазки соединены внутри пустого черепа железной дужкой со свинцовым шариком противовеса. Вот чертова перечница!

А ведь притворялась живой и любимой! А смеющаяся компания порхнула прочь и, поправ тугие законы пространства и времени, щебечет себе вновь в каком-то недоступном закоулке мира, вовеки нетленная, нарядно бессмертная, и, может быть, покажется вновь на одном из поворотов пути -- в самый неподходящий момент и, конечно, без предупреждения.

Ну раз вы такие - живите как хотите. Гоняться за вами -- все равно что ловить бабочек, размахивая лопатой. Но хотелось бы поподробнее узнать про Соню.

Ясно одно - Соня была дура. Это ее качество никто никогда не оспаривал, да теперь уж и некому. Приглашенная в первый раз на обед - в далеком, желтоватой дымкой подернутом тридцатом году, -- истуканом сидела в торце длинного накрахмаленного стола, перед конусом салфетки, свернутой, как было принято - домиком. Стыло бульонное озерцо. Лежала праздная ложка. Достоинство всех английских королей, вместе взятых, заморозило Сонины лошадиные черты.

- А вы, Соня, - сказали ей (должно быть, добавили и отчество, но теперь оно уже безнадежно утрачено), - а вы, Соня, что же не кушаете?

- Перцу дожидаюсь, - строго отвечала она ледяной верхней губой.

Впрочем, по прошествии некоторого времени, когда уже выяснились и Сонины незаменимость на кухне в предпраздничной суете, и швейные достоинства, и ее готовность погулять с чужими детьми и даже посторожить их сон, если все шумной компанией отправляются на какое-нибудь неотложное увеселение, - по прошествии некоторого времени кристалл Сониной глупости засверкал иными гранями, восхитительными в своей непредсказуемости. Чуткий инструмент, Сонины душа улавливала, очевидно, тональность настроения общества, пригревшего ее вчера, но, зазевавшись, не успевала перестроиться на сегодня. Так, если на поминках Соня бодро вскрикивала: "Пей до дна!" - то ясно было, что в ней еще живы недавние именины, а на свадьбе от Сониных тостов веяло вчерашней кутьей с гробовыми мармеладками.

"Я вас видела в филармонии с какой-то красивой дамой: интересно, кто это?" - спрашивала Соня у растерянного мужа, перегнувшись через его помертвевшую жену. В такие моменты насмешник Лев Адольфович, вытянув губы трубочкой, высоко подняв лохматые брови, мотал головой, блеснул мелкими очками: "Если человек мертв, то это надолго, если он глуп, то это навсегда!" Что же, так оно и есть, время только подтвердило его слова.

Сестра Льва Адольфовича, Ада, женщина острая, худая, по-змеиному элегантная, тоже попавшая однажды в неловкое положение из-за Сониного идиотизма, мечтала ее наказать. Ну, конечно, слегка - так, чтобы и самим посмеяться, и

дурочке доставить небольшое развлечение. И они шептались в углу -Лев и Ада, - выдумывая что поостроумнее.

Стало быть, Соня шила... А как она сама одевалась? Безобразно, друзья мои, безобразно! Что-то синее, полосатое, до такой степени к ней не идущее! Ну вообразите себе: голова как у лошади Пржевальского (подметил Лев Адольфович), под челюстью огромный висячий бант блузки торчит из твердых створок костюма, и рукава всегда слишком длинные. Грудь впалая, ноги такие толстые -- будто от другого человеческого комплекта, и косолапые ступни.

Обувь набок снашивала. Ну, грудь, ноги - это не одежда... Тоже одежда, милая моя, это тоже считается как одежда! При таких данных надо особенно соображать, что можно носить, чего нельзя!.. Брошка у нее была -- эмалевый голубок. Носила его на лацкане жакета, не расставалась. И когда передевалась в другое платье - тоже обязательно прицепляла этого голубка.

Соня хорошо готовила. Торты накручивала великолепные. Потом вот эту, знаете, требуху, почки, вымя, мозги - их так легко испортить, а у нее выходило - пальчики оближешь. Так что это всегда поручалось ей. Вкусно, и давало повод для шуток. Лев Адольфович, вытягивая губы, кричал через стол: "Сонечка, ваше вымя меня сегодня просто потрясает!" - и она радостно кивала в ответ. А Ада сладким голоском говорила: "А я вот в восторге от ваших бараньих мозгов!" - "Это телячьи", - не понимала Соня, улыбаясь. И все радовались: ну не прелесть ли?!

Она любила детей, это ясно, и можно было поехать в отпуск, хоть в Кисловодск, и оставить на нее детей и квартиру - поживите пока у нас, Соня, ладно? - и, вернувшись, найти все в отменном порядке: и пыль вытерта, и дети румяные, сытые, гуляли каждый день и даже ходили на экскурсию в музей, где Соня служила каким-то там научным хранителем, что ли; скучная жизнь у этих музейных хранителей, все они старые девы. Дети успевали привязаться к ней и огорчались, когда ее приходилось перебрасывать в другую семью. Но ведь нельзя же быть эгоистами и пользоваться Соней в одиночку: другим она тоже могла быть нужна. В общем, управлялись, устанавливали какую-то разумную очередь.

Ну что о ней еще можно сказать? Да это, пожалуй, и все! Кто сейчас помнит какие-то детали? Да за пятьдесят лет никого почти в живых не осталось, что вы! И столько было действительно интересных, по-настоящему содержательных людей, оставивших концертные записи, книги, монографии по искусству. Какие судьбы! О каждом можно говорить без конца. Тот же Лев Адольфович, негодяй в сущности, но умнейший человек и в чем-то миляга. Можно было бы порасспрашивать Аду Адольфовну, но ведь ей, кажется, под девяносто, и -- сами понимаете... Какой-то там случай был с ней во время блокады. Кстати, связанный с Соней. Нет, я плохо помню. Какой-то стакан, какие-то письма, какая-то шутка.

Сколько было Соне лет? В сорок первом году - там ее следы обрываются - ей должно было исполниться сорок. Да, кажется, так. Дальше уже просто подсчитать, когда она родилась и все такое, но какое это может иметь значение, если неизвестно, кто были ее родители, какой она была в детстве, где жила, что делала и с кем дружила до того дня, когда вышла на свет из неопределенности и села дожидаться перцу в солнечной, нарядной столовой.

Впрочем, надо думать, что она была романтична и по-своему возвышенна. В конце концов, эти ее банты, и эмалевый голубок, и чужие, всегда сентиментальные стихи, не вовремя срывававшиеся с губ, как бы выплюнутые длинной верхней губой, приоткрывавшей длинные, костяного цвета зубы, и любовь к детям причем к любимым, - все это характеризует ее вполне однозначно. Романтическое существо. Было ли у нее счастье? О да! Это - да! уж что-что, а счастье у нее было.

И вот надо же - жизнь устраивает такие штуки! -- счастьем этим она была обязана всецело этой змее Аде Адольфовне. (Жаль, что вы ее не знали в молодости. Интересная женщина.)

Они собрались большой компанией - Ада, Лев, еще Валериан, Сережа, кажется, и Котик, и кто-то еще - и разработали уморительный план (поскольку идея была Адина, Лев называл его "адским планчиком"), отлично им удавшийся. Год шел что-нибудь такое тридцать третий. Ада была в своей лучшей форме, хотя уже и не девочка, - фигурка прелестная, лицо смуглое с темно-розовым румянцем, в теннис она первая, на байдарке первая, все ей смотрели в рот. Аде было даже неудобно, что у нее столько поклонников, а у Сони - ни одного. (Ой, умора! У Сони - поклонники?!) И она предложила придумать для бедняжки загадочного дыхателя, безумно влюбленного, но по каким-то причинам никак не могущего с ней встретиться лично. Отличная идея! Фантом был немедленно создан, наречен Николаем, обременен женой и тремя детьми, поселен для переписки в квартире Адиногo отца - тут раздались было голоса протеста: а если Соня узнает, если сунется по этому адресу? - но аргумент был отвергнут как несостоятельный: во-первых, Соня - дура, в том-то вся и штука; ну а во-вторых, должна же у нее быть совесть - у Николая семья, неужели она ее возьмется разрушить? Вот, он же ей ясно пишет, - Николай то есть, - дорогая, ваш незабываемый облик навеки отпечатался в моем израненном сердце (не надо "израненном", а то она поймет буквально, что инвалид), но никогда, никогда нам не суждено быть рядом, так как долг перед детьми... ну и так далее, но чувство, - пишет далее Николай, -- нет, лучше: истинное чувство -- оно согреет его холодные члены ("То есть как это, Адочка?" - "Не мешайте, дураки!") путеводной звездой и всякой там пышной розой. Такое вот письмо. Пусть он видел ее, допустим, в филармонии, любовался ее тонким профилем (тут Валериан просто свалился с дивана от хохота) и вот хочет, чтобы возникла такая возвышенная переписка. Он с трудом узнал ее адрес. Умоляет прислать фотографию. А почему он не может явиться на свидание, тут-то дети не помешают? А у него чувство долга. Но оно ему почему-то ничуть не мешает переписываться? Ну тогда пусть он парализован. До пояса. Отсюда и хладные члены. Слушайте, не дурите! Надо будет - парализуем его попозже. Ада брызгала на почтовую бумагу "Шипром", Котик извлек из детского гербария засушенную незабудку, розовую от старости, совал в конверт. Жить было весело!

Переписка была бурной с обеих сторон. Соня, дура, клюнула сразу. Влюбилась так, что только оттаскивай. Пришлось слегка сдержать ее пыл: Николай писал примерно одно письмо в месяц, притормаживая Соню с ее разбушевавшимся купидоном.

Николай изошрялся в стихах: Валериану пришлось попотеть. Там были просто перлы, кто понимает, - Николай сравнивал Соню с лилией, лианой и газелью, себя - с соловьем и джейраном, причем одновременно. Ада писала прозаический текст и осуществляла общее руководство, останавливая своих резвившихся приятелей, дававших советы Валериану: "Ты напиши ей, что она - гну. В смысле антилопа. Моя божественная гну, я без тебя иду ко дну!" Нет, Ада была на высоте: трепетала Николаевой нежностью и разверзала глубины его одинокого мятущегося духа, настаивала на необходимости сохранять платоническую чистоту отношений и в то же время подпускала намек на разрушительную страсть, время для проявления коей еще почему-то не пришло. Конечно, по вечерам Николай и Соня должны были в назначенный час поднять взоры к одной и той же звезде. Без этого уж никак. Если участники эпистолярного романа в эту минуту находились поблизости, они старались помешать Соне раздвинуть занавески и украдкой бросить взгляд в звездную высь, звали ее в коридор: "Соня, подите сюда на минутку... Соня, вот какое дело...", наслаждаясь ее смятием: заветный миг надвигался, а Николаев взор рисковал

проболтаться попусту в окрестностях какого-нибудь там Сириуса или как его - в общем, смотреть надо было в сторону Пулкова.

Потом затея стала надоедать: сколько же можно, тем более что из томной Сони ровным счетом ничего нельзя было вытянуть, никаких секретов; в наперсницы к себе она никого не допускала и вообще делала вид, что ничего не происходит, - надо же, какая скрытная оказалась, а в письмах горела неугасимым пламенем высокого чувства, обещала Николаю вечную верность и сообщала о себе все-превсе: и что ей снится, и какая пичужка где-то там прощebetала. Высылала в конвертах вагоны сухих цветов, и на один из Николаевых дней рождения послала ему, отцепив от своего ужасного жакета, свое единственное украшение: белого эмалевого голубка. "Соня, а где же ваш голубок?" - "Улетел", - говорила она, обнажая костяные лошадиные зубы, и по глазам ее ничего нельзя было прочесть. Ада все собиралась умертвить, наконец, обременявшего ее Николая, но, получив голубка, слегка содрогнулась и отложила убийство до лучших времен. В письме, приложенном к голубку, Соня клялась непременно отдать за Николая свою жизнь или пойти за ним, если надо, на край света.

Весь мыслимый урожай смеха был уже собран, проклятый Николай каторжным ядром путался под ногами, но бросить Соню одну, на дороге, без голубка, без возлюбленного, было бы бесчеловечно. А годы шли; Валериан, Котик и, кажется, Сережа по разным причинам отпали от участия в игре, и Ада мужественно, угрюмо, одна несла свое эпистолярное бремя, с ненавистью выпекая, как автомат, ежемесячные горячие почтовые поцелуи. Она уже сама стала немного Николаем, и порой в зеркале при вечернем освещении ей мерещились усы на ее смугло-розовом личике. И две женщины на двух концах Ленинграда, одна со злобой, другая с любовью, строчили друг другу письма о том, кого никогда не существовало.

Когда началась война, ни та ни другая не успели эвакуироваться. Ада копала рвы, думая о сыне, увезенном с детским садом. Было не до любви. Она съела все, что было можно, сварила кожаные туфли, пила горячий бульон из обоев - там все-таки было немного клейстера. Настал декабрь, кончилось все.

Ада отвезла на саночках в братскую могилу своего папу, потом Льва Адольфовича, затопила печурку Диккенсом и негнушимами пальцами написала Соне прощальное Николаево письмо. Она писала, что все ложь, что она всех ненавидит, что Соня - старая дура и лошадь, что ничего не было и что будьте вы все прокляты. Ни Аде, ни Николаю Дальше жить не хотелось. Она отперла двери большой отцовской квартиры, чтобы похоронной команде легче было войти, и легла на диван, навалив на себя пальто папы и брата.

Неясно, что там было дальше. Во-первых, это мало кого интересовало, во-вторых, Ада Адольфовна не очень-то разговорчива, ну и, кроме того, как уже говорилось, время! Время все съело. Добавим к этому, что читать в чужой душе трудно: темно, и дано не всякому. Смутные домыслы, попытки догадок - не больше.

Вряд ли, я полагаю, Соня получила Николаеву могильную весть. Сквозь тот черный декабрь письма не проходили или же шли месяцами. Будем думать, что она, возведя полуслепые от голода глаза к вечерней звезде над разбитым Пулковом, в этот день не почувствовала магнетического взгляда своего возлюбленного и поняла, что час его пробил. Любящее сердце - уж говорите, что хотите - чувствует такие вещи, его не обманешь. И, догадавшись, что пора, готовая испепелить себя ради спасения своего единственного, Соня взяла все, что у нее было - баночку довоенного томатного сока, сбереженного для такого вот смертного случая, - и побрела через весь Ленинград в квартиру умирающего Николая. Сока там было ровно на одну жизнь.

Николай лежал под горой пальто, в ушанке, с черным страшным лицом, с запекшимися губами, но гладко побритый. Соня опустилась на колени, прижалась глазами к его отекающей руке со сбитыми ногтями и немножко поплакала. Потом она напоила его соком с ложечки, подбросила книг в печку благословила свою счастливую

судьбу и ушла с ведром за водой, чтобы больше никогда не вернуться- бомбили в тот день сильно.

-Вот, собственно, и все, что можно сказать о Соне. Жил человек -- и нет его. Одно имя осталось.

...-Ада Адольфовна, отдайте мне Сонины письма.

Ада Адольфовна выезжает из спальни в столовую, поворачивая руками большие колеса инвалидного кресла. Сморщенное личико ее мелко трясется. Черное платье прикрывает до пят безжизненные ноги. Большая камья приколоты у горла. На камее кто-то кого-то убивает: щиты, копья, враг изящно упал.

- Письма?

Письма, письма, отдайте мне Сонины письма.

- Не слышу!

Слово "отдайте" она всегда плохо слышит - раздраженно шипит жена внука, косясь на камью.

- Не пора ли обедать? - шамкает Ада Адольфовна.

Какие большие темные буфеты, какое тяжелое столовое серебро в них, и вазы, и всякие запасы: чай, варенья, крупы, макароны. Из других комнат тоже виднеются буфеты, буфеты, гардеробы, шкафы - с бельем, с книгами, со всякими вещами. Где она хранит пачку Сониных писем, ветхий пакетик, перехваченный бечевкой, потрескивающий от сухих цветов, желтоватых и прозрачных, как стрекозиные крылья? Не помнит или не хочет говорить? Да и что толку - приставать к трясущейся парализованной старухе! Мало ли у нее самой было в жизни трудных дней? Скорее всего она бросила эту пачку в огонь, встав на распухшие колени в ту ледяную зиму, во вспыхивающем кругу минутного света, и, может быть, робко занявшись вначале, затем быстро чернея с углов, и, наконец, взвившись столбом гудящего пламени, письма согрели, хоть на краткий миг, ее скрюченные, окоченевшие пальцы. Пусть так. Вот только белого голубка, я думаю, она должна была оттуда вынуть. Ведь голубков огонь не берет.

2. Р. Киплинг. Лиспет.

Изгнали вы любовь. Каким богам
Молиться мне в угоду вам?
Троим в одном? Иль одному в троих?
О нет, я отвергаю их.
Мне легче жить среди своих богов,
Чем в путанице троиц и Христов
Новообращенный"

Она была дочерью горца Соно и жены его Джаде. Как-то раз у них не уродился маис, и два медведя забрались ночью на их единственное маисовое поле над долиной Сатледжа, неподалеку от Котгарха; и поэтому зимой они перешли в христианство и принесли в миссию свою дочь, чтобы ее окрестили. Котгархский пастор назвал ее Элизабет - "Лиспет", как произносят в горах на языке пахари.

Позже в Котгархской долине вспыхнула холера. Она поразила Соно и Джаде, и Лиспет стала не то служанкой, не то компаньонкой жены тогдашнего котгархского пастора. Это случилось уже после того, как в миссиях властвовали моравские братья, но Котгарх тогда еще не совсем утратил свою славу господина северных гор.

Не знаю, христианство ли пошло на пользу Лиспет или боги ее племени pekлись бы о ней не меньше, но она росла красавицей. А когда девушка с гор - красавица, стоит проехать пятьдесят миль по плохой дороге для того только, чтобы взглянуть на нее. У Лиспет было античное лицо - одно из тех лиц, которые так часто видишь на картинах и так редко в жизни, - кожа цвета слоновой кости и удивительные глаза. Для уроженки тех мест она была очень высокой, и если бы не платье из безобразного, излюбленного в миссиях набивного ситца, вы бы подумали, неожиданно встретив ее в горах, что это сама Диана вышла на охоту.

Лиспет легко приурочилась к христианству и, когда выросла, не отвернулась от него, не в пример многим другим девушкам с гор. Соплеменники не любили ее, потому что, говорили они, она сделалась мем-сахиб и каждый день умывается; а жена пастора не знала, как с ней обращаться. Казалось, неловко заставлять величавую богиню пяти футов десяти дюймов роста мыть тарелки и чистить кастрюли. Поэтому Лиспет играла с пасторскими детьми, ходила в воскресную школу, читала все книги, какие попадались ей в руки, и становилась все краше и краше, как принцесса в волшебной сказке. Жена пастора говорила, что девушке следовало бы поехать в Симлу и найти там себе какое-нибудь "приличное" место: стать няней или чем-нибудь в этом роде. Но Лиспет не хотела искать себе места. Она и в Котгархе была счастлива.

Когда путешественники - в те годы это бывало не часто - вдруг приезжали в Котгарх, Лиспет обычно запиралась у себя в комнате, боясь, как бы они не увезли ее в Симлу или еще куда-нибудь в неведомый мир.

Однажды, вскоре после того, как ей исполнилось семнадцать, Лиспет отправилась в горы. Гуляла она не так, как английские дамы - мили полторы пешком, а обратно в коляске. Во время своих "небольших" прогулок, делая миль по двадцать - тридцать, она исходила вдоль и поперек все окрестности Котгарха до самой Нарканды. На этот раз она вернулась, когда уже совсем стемнело, спустившись в Котгарх по обрывистому склону с чем-то тяжелым на руках. Жена пастора дремала в гостиной, когда, с трудом переводя дух, чуть не падая под тяжестью ноши, туда вошла Лиспет. Положив свою ношу на диван, она сказала просто:

- Это мой муж. Я нашла его на дороге в Баги. Он расшибся. Мы выходим его, и, когда он поправится, пастор нас обвенчает.

До тех пор Лиспет ни разу не упоминала о своих матримониальных намерениях, и жена пастора пришла в ужас. Однако прежде всего надо было заняться человеком, лежащим на диване. Это был молодой англичанин, на голове у него зияла

рваная рана. Лиспет сказала, что нашла его у подножия горы, вот она и принесла его в миссию. Он прерывисто дышал и был без сознания.

Его уложили в постель, и пастор, имевший некоторые познания в медицине, перевязал ему рану, а Лиспет поджидала за дверью на случай, если понадобится ее помощь. Она объявила пастору, что за этого мужчину она намерена выйти замуж, и пастор и его жена строго отчитали ее за неприличие ее поведения. Лиспет спокойно их выслушала и повторила то же самое. Христианству немало еще надо потрудиться, дабы уничтожить в жителях Востока такие варварские инстинкты, как, например, любовь с первого взгляда. Лиспет не понимала, почему, найдя человека, достойного поклонения, она должна молчать об этом. И она вовсе не желала, чтобы ее отсылали прочь. Она собиралась ухаживать за англичанином, пока он не поправится настолько, что сможет на ней жениться. Такова была ее нехитрая программа.

Пролежав две недели в жару из-за воспаления раны, англичанин стал поправляться и поблагодарил пастора и его жену, и Лиспет - особенно Лиспет - за их доброту. Он путешествует по Востоку, сказал он (в те дни, когда "Восточное пароходство" только-только возникло и не располагало многими судами, "туристов" не было еще и в помине), и прибыл сюда, в горы Симлы, из Дехра-Дуна собирать растения и бабочек. Поэтому никто в Симле его не знает. Он думает, что, должно быть, упал с обрыва, когда пытался добраться до папоротника, росшего на трухлявом стволе, и что его кули бежали, захватив с собой всю поклажу. Он предполагает вернуться в Симлу, когда немного окрепнет. Лазать по горам у него отпала охота.

Он не очень спешил покинуть миссию, да и силы его восстанавливались медленно. Лиспет не желала слушать ничьих советов, поэтому жена пастора рассказала англичанину, что забрала себе в голову Лиспет. Он очень смеялся и заметил, что все это весьма романтично, настоящая гималайская идиллия, но поскольку на родине у него уже есть невеста, он полагает, что здесь и говорить не о чем. Конечно, вести себя он постарается благоразумно. И англичанин сдержал свое слово. Однако он находил весьма приятным беседовать с Лиспет, гулять с ней, шептать ей нежные слова, называть ласкательными именами, пока он набирался сил для того, чтобы навсегда их покинуть. Все это ничего не значило для него и очень много - для Лиспет. Она была счастлива, потому что нашла человека, которого могла любить.

Дикарка по природе, Лиспет и не старалась скрывать свои чувства, и это забавляло англичанина. Когда он покидал миссию, Лиспет, встревоженная и удрученная, провожала его до самой Нарканды. Жена пастора, будучи доброй христианкой и ненавидя всякие сцены и скандалы, - а Лиспет совершенно отбилась от рук, - попросила англичанина пообещать девушке, что он вернется и женится на ней.

- Видите ли, она еще сущий ребенок и, боюсь, в душе язычница, - сказала жена пастора.

Поэтому все двенадцать миль вверх по горе англичанин, обняв Лиспет за талию, уверял ее, что он скоро вернется и они обвенчаются, и Лиспет заставляла его вновь и вновь повторять свое обещание. Расстались они на хребте Нарканды, и Лиспет плакала, пока он не скрылся из виду на повороте дороги, ведущей в Маттиани.

Тогда она вытерла слезы и снова спустилась в Котгарх и сказала жене пастора:

- Он вернется и станет моим мужем. Он поехал к своим, чтобы сообщить об этом.

И жена пастора утешала Лиспет и говорила:

- Да, конечно, он вернется.

К концу второго месяца Лиспет стала проявлять беспокойство, и ей сказали, что англичанин уехал за море, в Англию. Она знала, где находится Англия, потому что читала простенькие учебники географии, но, естественно, не представляла себе, что такое море - ведь она выросла среди гор. В доме была старая игра-головоломка - разборная карта мира; Лиспет часто играла ею в детстве. Она снова разыскала карту и

по вечерам складывала ее и тихо плакала, стараясь вообразить, где находится ее англичанин. Поскольку она не имела ни малейшего понятия о расстояниях и пароходах, ее догадки были довольно далеки от истины. Но даже если бы они были абсолютно верны, это ничего не изменило бы, потому что англичанин вовсе не имел намерения возвращаться в Котгарх, чтобы жениться на девушке с гор. Он совершенно забыл ее, пока охотился за бабочками в Ассаме. Впоследствии он написал книгу о Востоке. Имя Лиспет там не упоминалось.

Когда третий месяц подошел к концу, Лиспет стала ежедневно совершать паломничество в Нарканду, чтобы посмотреть, не идет ли по дороге ее англичанин. От этого ей становилось легче, и жена пастора, видя ее счастливой, чем прежде, решила, что она понемногу избавляется от своей "варварской и крайне нескромной причуды". Через некоторое время прогулки эти перестали помогать Лиспет, и она снова стала очень раздражительной. Жена пастора сочла, что наступило время сообщить Лиспет, каково истинное положение вещей: что англичанин обещал жениться на ней, только чтобы ее успокоить, у него этого и в мыслях не было, и что "грешно и неприлично" со стороны Лиспет думать о браке с человеком, который принадлежит к "вышей расе", не говоря уж о том, что он обручен с девушкой-англичанкой. Лиспет сказала, что это невозможно: ведь англичанин уверял ее в своей любви и она, жена пастора, сама подтвердила, что он вернется.

- Как может быть неправдой то, что он и вы говорили мне? – спросила она.

- Мы говорили так, чтобы успокоить тебя, дитя, - сказала жена пастора.

- Значит, вы лгали мне оба, - воскликнула Лиспет, - и вы и он!

Жена пастора в ответ только склонила голову. Лиспет некоторое время тоже молчала. Затем она ушла из миссии и вернулась в невероятно грязной одежде гималайских женщин, однако без колец в носу и ушах. Волосы, по обычаю женщин с гор, она заплела в длинную косу, перевитую черными нитками.

- Я возвращаюсь к своему народу, - сказала она. - Вы убили Лиспет. Осталась только дочь старой Джаде... дочь пахари и рабыня Тарка-Деви. Все вы, англичане, лгуны.

Пока жена пастора оправлялась от удара, нанесенного ей сообщением, что Лиспет возвращается к богам своих предков, девушка исчезла и никогда больше в миссии не появлялась.

Она горячо полюбила свой народ, словно желая возместить с лихвой все те годы, что чуждалась его, и вскоре вышла замуж за дровосека, который бил ее, как это водится у пахари, и красота ее быстро поблекла.

- Причуды этих дикарей непостижимы, - говорила жена пастора, - и я полагаю, что в душе Лиспет всегда оставалась язычницей.

Если учесть, что Лиспет была принята в лоно англиканской церкви в зрелом возрасте пяти недель от роду, это утверждение не делает чести жене пастора.

Лиспет дожила до глубокой старости. Она прекрасно владела английским языком и, когда бывала в достаточной мере пьяна, порой соглашалась рассказать историю своей первой любви.

И трудно было поверить, глядя на нее, что это морщинистое существо с тусклым взором, похожее на кучку истлевшей ветоши, та самая Лиспет из котгархской миссии.

3. Э. Хемингуэй. Там где чисто, светло. 1933.

Был поздний час, и никого не осталось в кафе, кроме одного старика – он сидел в тени дерева, которую отбрасывала листва, освещенная электрическим светом. В дневное время на улице было пыльно, но к ночи роса прибавала пыль, и старику нравилось сидеть допоздна, потому что он был глух, а по ночам было тихо, и он это ясно чувствовал. Оба официанта в кафе знали, что старик подвыпил, и хоть он и хороший гость, но если он слишком много выпьет, то уйдет, не заплатив; потому они и следили за ним.

- На прошлой недели он пытался покончить с собой, - сказал один.

- Почему?

- Впал в отчаяние.

- От чего?

- Ни от чего.

- А откуда ты знаешь, что ни от чего?

- У него же уйма денег.

Оба официанта сидели за столиком у стены возле самой двери и смотрели на террасу, где все столики были пусты, кроме одного, за которым сидел старик в тени дерева, листья которого слегка покачивались на ветру. Солдат и девушка прошли по улице. Свет уличного фонаря блеснул на медных цифрах у него на воротнике. Девушка шла с непокрытой головой и спешила, чтобы не отстать.

- Патруль заберет его, - сказал официант.

- Какая ему разница, он своего добился.

- Ему бы сейчас лучше с этой улицы уйти. Прямо на патруль наскочит. И пяти минут нет, как прошли.

Старик, что сидел в тени, постучал рюмкой о блюдце. Официант помоложе вышел к нему.

- Вам чего?

Старик посмотрел на него.

- Еще бренди, - сказал он.

- Вы будете пьяны, - сказал официант. Старик смотрел на него. Официант ушел.

- Всю ночь просидит, - сказал он другому. - Я совсем не сплю. Раньше трех никогда не ляжешь. Лучше бы помер на прошлой неделе.

Официант взял со стойки бутылку бренди и чистый стакан и направился к столику, где сидел старик. Он поставил стакан и налил его до краев.

- Ну, что бы вам помереть на прошлой неделе, - сказал он глухому. Старик пошевелил пальцем.

- Добавьте еще, - сказал он.

Официант долил в рюмку еще столько, что бренди потек через край, по стакану, прямо в самый верхний из тех, что скопились перед стариком.

- Благодарю, - сказал старик.

Официант унес бутылку обратно в кафе и снова сел за столик у двери.

- Он уже пьян, - сказал он.

- Он каждую ночь пьян.

- Зачем ему было на себя руки накладывать?

- Откуда я знаю.

- А как он это сделал?

- Повесился на веревке.

- Кто ж его из петли вынул?

- Племянница.

- И зачем же это она?

- За его душу испугалась.

- А сколько у него денег?

- Уйма.

- Ему, должно быть, лет восемьдесят.
- Я бы меньше не дал.
- Шел бы он домой. Раньше трех никогда не ляжешь. Разве это дело?
- Нравится ему, вот и сидит.
- Скучно ему одному. А я не один - меня жена в постели ждет.
- И у него когда-то жена была.
- Теперь ему жена и к чему.
- Ну, не скажи. С женой ему, может быть, лучше было бы.
- За ним племянница ходит.
- Знаю. Ты ведь сказал - это она его из петли.
- Не хотел бы я дожить до его лет. Противные эти старики.
- Не всегда. Он старик аккуратный. Пьет, ни капли не прольет. Даже сейчас, когда пьяный. Посмотри.

- Не хочу и смотреть на него. Скорей бы домой шел. Никакого ему дела нет до тех, кому работать приходится.

Старик перевел взгляд с рюмки на другую сторону площадки, потом - на официантов.

- Еще бренди, - сказал он, показывая на рюмку. Тот официант, который спешил домой, вышел к нему.

- Конеч, - сказал он так, как говорят люди неумные с пьяными или иностранцами. - На сегодня ни одной больше. Закрываемся.

- Еще одну, - сказал старик.

- Нет, конечно.

Официант вытер край столика полотенцем и покачал головой.

Старик встал, не спеша сосчитал стаканы. Вынул из кармана кожаный кошелек и заплатил за коньяк, оставив полпесеты на чай.

Официант смотрел ему вслед. Старик был очень сгорблен, шел неуверенно. Но с достоинством.

- Почему ты не дал ему еще посидеть или выпить? - спросил официант, тот, что не спешил домой. Они стали закрывать ставни. - Ведь еще и половины третьего нет.

- Я хочу домой, спать.

- Ну, что значит один час.

- Для меня - больше, чем для него.

- Час для всех - час.

- Ты и сам, как старик, рассуждаешь. Может, купишь себе бутылку и выпьешь дома.

- Это совсем другое дела.

- Да, это верно, - согласился женатый. Он не хотел быть несправедливый. Просто он очень спешил.

- А ты? Не боишься прийти домой раньше обычного?

- Ты что, оскорбить меня хочешь?

- Нет, друг, просто шучу.

- Нет, - сказал тот, который спешил. Он запер внизу ставню и выпрямился. - Доверие. Полное доверие.

- У тебя и молодость, и доверие, и работа есть, - сказал официант постарше. - Что еще человеку надо.

- А тебе чего не хватает?

- А у меня всего только работа.

- У тебя все то же, что и у меня.

- Нет. Доверия у меня никогда не было, а молодость прошла.

- Ну, чего стоишь? Перестань говорить глупости, давай запирать.

- А я вот люблю засиживаться в кафе, - сказал официант постарше. - Я из тех, кто не спешит в постель. Из тех, кому ночью нужен свет.

- Я хочу домой, спать.

- Разные мы люди, - сказал официант постарше. Он уже оделся, чтобы уходить. - дело вовсе не в молодости и доверии, хоть и то и другое чудесно.

Каждую ночь мне не хочется закрывать кафе потому, что кому-нибудь оно очень нужно.

- Ну что ты, ведь кабаки всю ночь открыты.

- Не понимаешь ты ничего. Здесь, в кафе. Чисто и опрятно. Свет яркий.

Свет - это большое дело, а тут вот еще и тень от дерева.

- Спокойной ночи, - сказал официант помоложе.

- Спокойной ночи, сказал другой.

Выключая электрический свет, он продолжал разговор с самим собой.

Главное, конечно, свет, но нужно, чтобы и чисто было и опрятно. Музыка ни к чему. Конечно, музыка ни к чему. У стойки бара с достоинством не постоишь, а в такое время больше пойти некуда. А чего ему бояться? Да не в страхе дело, не в боязни! Ничто - и оно ему так знакомо. Все - ничто, да и сам человек

ничто. Вот в чем дело, и ничего, кроме света не надо, да еще чистоты и порядка. Некоторые живут и никогда этого не чувствуют, а он-то знает, что все это ничто и снова ничто, ничто и снова ничто. Отче ничто, да святится ничто твое, да приидет ничто твое, да будет ничто твое, яко в ничто и в ничто. Ничто и снова ничто.

Он усмехнулся и остановился возле бара с блестящим титаном для кофе.

- Что вам? - спросил бармен.

- Ничто.

- Еще один ненормальный, - сказал бармен и отвернулся.

- Маленькую чашечку, - сказал официант. Бармен налил ему кофе.

- Свет яркий, приятный, а вот стойка не начищена, - сказал официант.

- Бармен посмотрел на него, но ничего не ответил. Был слишком поздний час для разговоров.

- Еще одну? - спросил он.

- Нет, благодарю вас, - сказал официант и вышел.

Он не любил баров и погребков. Чистое, ярко освещенное кафе – совсем другое дело. Теперь, ни о чем больше не думая, он пойдет домой, в свою комнату. Ляжет в постель и на рассвете наконец уснет. В конце концов, сказал он сам себе, может быть, это просто бессонница. Со многими бывает.